



Анастасия Воищева

Кровь на бархате

18+

Анастасия Воищева

Кровь на бархате

«Автор»

2026

Воищева А. А.

Кровь на бархате / А. А. Воищева — «Автор», 2026

В приюте святой Агнесс, нет доброты и милости. Детей учат: "Люди делятся на две категории: хищники и добыча. Если ты добыча, значит господь так наказал тебя за грехи. Если же ты хищник, значит ты слуга господня." Но в один момент дети стали пропадать и в приюте пошел слух о восковом обществе и бледных господах.

© Воищева А. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Анастасия Воищева

Кровь на бархате

Глава 1

В квартале за портом, где воздух пропитан смрадом гнилой рыбы и стоячей воды, стоял приют святой Агнесс — обшарпанное здание, словно выброшенное на берег разбитое судно, забытое всеми.

Его стены, некогда выбеленные известью, теперь покрывала грязно-серая патина времени. Штукатурка местами обвалилась, обнажив кирпичную кладку, испещрённую тёмными разводами сырости. В некоторых местах кирпичи и вовсе выпали, оставив немалые дыры, прикрытые наскоро прибитыми досками. Крыша просела в нескольких местах, черепица осыпалась, и сквозь прорехи пробивались пучки мха и травы, будто природа медленно, но верно забирала своё обратно.

Окна приюта — узкие, с потрескавшимися рамами — смотрели на мир тускло и безжизненно. Некоторые были заколочены досками, другие затянуты пожелтевшей марлей или кусками мешковины. Лишь в немногих ещё сохранились целые стёкла, покрытые внешне многолетней грязью, сквозь которую едва пробивался свет.

Перед зданием, стояли сухие деревья. Их искривлённые стволы напоминали скелеты, а ветви, лишённые листвы, тянулись вверх, как костлявые пальцы, вызывающие к небу. Кора отслаивалась, обнажая серые, мёртвые слои древесины. Под деревьями валялись опавшие ветки, перемешанные с мусором: рваные мешки, разбитые глиняные черепки, обломки деревянных ящиков, среди всего этого лежали чьи-то маленькие выброшенные башмаки с оторванными подошвами, которые судя по потертой краске, когда-то были голубыми.

Земля вокруг приюта была изрыта колеями от телег, превратившимися в постоянные лужи, в которых плавали обрывки бумаги, перья и прочий хлам. Недалеко от приюта, вдоль стены тянулась канава, забитая гниющими водорослями и рыбьими останками, от которой поднимался тяжёлый, сладковато-гнилостный запах.

У входа, на ступенях, чьи щели были покрыты мхом и плесенью, стояли аккуратно сложенные пустые корзины и ржавые ведра. Дверь, сколоченная из потемневших от времени досок, едва держалась на проржавевших петлях, а её поверхность испещряли глубокие царапины, будто кто-то пытался вырваться наружу или, напротив, проникнуть внутрь. Не смотря на внешнюю хрупкость, она была очень тяжелой.

Всё здесь дышало упадком: каждый камень, каждая трещина, каждый клочок земли говорили о том, что это место давно покинуто заботой, оставлено на растерзание времени, сырости и забвения. Однако этот приют, как и сам район был весьма оживленным. На удивление, он был самым населенным районом. Районом, где царило насилие, жестокость и нищета.

В одной из общих спален приюта царил полумрак, рассекаемый лишь узкими полосками тусклого света единственного уличного фонаря, пробивавшегося сквозь зарешечённое окно. За ржавыми прутьями виднелся клочок чёрного неба и край облезлой крыши соседнего строения.

Раньше в этом районе не было фонарей, мэр города считал, что это пустая трата денег. Всё равно кто-нибудь из местных пьянчуг разобьёт его. Но после многочисленных пропаж детей он всё же выделил деньги из городского бюджета, и возле единственного приюта был поставлен единственный фонарь. К слову, возле дома мэра таких фонарей было четыре. То ли

потому, что возле его дома не было трактиров, то ли потому, что единственным пьянчугой на той улице был он сам.

На жёсткой койке, прижатой к холодной стене, спала девочка лет четырнадцати — Ария. Её постель состояла из тощего соломенного матраса, покрытого выцветшим, местами протёртым до дыр одеялом. Сегодня под головой — не подушка, а свёрнутая в валик старая кофта, едва удерживавшая тепло.

Ария лежала на боку, свернувшись калачиком, словно пытаясь укрыть себя от сквозняка, что неустанно гулял по спальне. Её тонкие пальцы сжимали край одеяла, будто это был единственный щит от холода и тревожных снов. Лицо девочки, бледное и заострённое от недоедания, сохраняло напряжённое выражение даже во сне: брови слегка сдвинуты, губы плотно сжаты — привычка, выработанная годами жизни в постоянном ожидании удара или окрика.

Вокруг — тишина, нарушаемая лишь редким скрипом рассохшихся досок да отдалённым плеском воды в порту. В комнате стояло ещё шесть таких же коек, расставленных рядами. Они выглядели одинаково: продавленные матрасы, потёртые одеяла, следы сырости на стенах у изголовий. На полу — неровные доски, местами вздувшиеся от влаги, между ними темнели щели, откуда тянуло промозглой сыростью.

Воздух в спальне был тяжёлым, пропитанным запахом пота, затхлости и едва уловимой кислинкой плесени. Где-то в углу затаились крысы, хорошо, что они не шуршали, ведь эти звуки могли легко разбудить Арию — её сон был поверхностным, настороженным, как у зверя, привыкшего спать вполглаза.

Её волосы — тусклые, тёмно-русые, спутанные после сна — разметались по самодельной подушке. На щеке виднелся едва заметный синяк, уже пожелтевший и побледневший, но всё ещё напоминавший о неудачном столкновении с Ликой. Рука, выглядывавшая из-под одеяла, была худой, с выступающими косточками и мелкими царапинами — следами работы в прачечной.

За окном медленно светало. Серое утро вливалось в комнату, подчёркивая обстановку: облупленную краску на оконных рамах, следы копоты на потолке от поломанной керосинки. Но Ария не видела этого. В её сне, быть может, было что-то другое — место, где нет решёток, где воздух пахнет не гнилью, а цветами, где можно спать, не сжимая в руке край одеяла.

Но звонок колокола в порту, тихий и глухой, вот-вот разорвёт эту хрупкую грёзу. И тогда — снова реальность: холод, голод, страх и бесконечная череда дней, похожих друг на друга, как капли дождя, стекающие по грязному и треснувшему стеклу зарешечённого окна. Где-то скрипит половица, где-то стонет сквозняк в трубе. Эти звуки — её будильник, когда портовый колокол молчит, они становятся сигналом: «Вставай. Сейчас. Пора».

Раньше Ария просыпалась не от портового колокола, а от надрывного, хриплого кашля соседки по кровати — девочки, чьё имя она даже не успела толком запомнить. Эта девочка была в приюте не долго.

Она помнит, как сестра Марта однажды вошла в спальню с ведром ледяной воды. Как медленно она подошла к койке девочки, замешкавшейся на минуту. Как опрокинула ведро — и крик, такой пронзительный, разорвал утреннюю тишину. А потом — затишье. И мокрые волосы, прилипшие к лицу, и дрожь, и стыд, и запах сырости, который ещё долго не выветрится.

Холод и влага сыграли против нее. Кашель звучал каждую ночь: глухой, булькающий, будто в груди у соседки скопилась вода. Ария лежала, прислушиваясь, и чувствовала, как вместе с каждым всхлипом чужой боли в неё проникает ледяной ужас.

Девочка так и не смогла согреться в ту зиму. Однажды она не явилась к отбою и сестра Марта собиралась наказать ее утром, лишив еды на день. Но утром её нашли в углу прачечной — скрюченную, с посиневшими пальцами, вжавшуюся в стену в тщетной надежде поймать хоть кроху тепла. Никто не заплакал.

Никто даже не удивился. Просто переставили койку, протёрли пол и продолжили жить, будто ничего не случилось.

С тех пор Ария научилась просыпаться до звона благовеста. Ещё полутьма за окном, ещё бледные звёзды можно разглядеть сквозь решётку, а она уже открывает глаза — резко, будто выныривает из глубокого сна. Тело тут же пронзает холод: дырявое одеяло едва прикрывает плечи. Печь топят раз в три дня, и те короткие часы, когда стены приюта ненадолго впитывают тепло, кажутся чудом, почти сном.

Ария вздрагивает, когда сквозь сон слышит отдаленный звон портового колокола. Она садится на койке, обхватив себя руками. Пальцы немеют. Выбившиеся короткие волосы из косы, падают ей на лицо и плечи.

Девочка спускает ноги на пол, и холод впивается в ступни, как тысячи мелких иголок. Она кусает губу, чтобы не застонать, и начинает одеваться в темноте — на ощупь, привычными движениями. Рубаха колется, металлическая пуговица на юбке царапает кожу, но это неважно. Важно успеть.

В приюте святой Агнесс жизнь текла по неписаным законам — тем самым, что не найти ни в уставе, ни на страницах молитвенников, но которые каждый воспитанник усваивал с первых дней, словно их выжигали на сердце раскалённым железом. От малышки, только переступившей порог приюта, до старшей надзирательницы — все знали правила игры, где ставками были кусок хлеба, минута покоя и право не быть избитой.

Здесь не было дружбы. Ни искренней, ни корыстной. Любые попытки сблизиться быстро тонули в болоте взаимного страха: сегодня ты делишься крохами, завтра — сам остаёшься без еды. Не было защиты — ни от старших девочек, ни от монахинь, чьи рясы скрывали равнодушные, а не милосердные. Не было даже простой человеческой жалости: сострадание считалось слабостью, а слабость в приюте означала гибель.

Там была строгая иерархия. Её фундамент складывался из страха и боли, а ступени обозначались синяками на теле и трещинами в душе. Младшие знали своё место: молчать, подчиняться, отдавать. Старшие — держать власть, демонстрировать силу, карать за непокорность.

Каждую неделю, словно по зловещему ритуалу, в общей спальне разворачивалась немая драма — негласное распределение ресурсов. В час, когда тусклые лампы бросали дрожащие тени на сырые стены, старшие девочки, кому уже исполнилось четырнадцать — пятнадцать, выходили на «охоту». Их движения были выверенными, взгляды — холодными, почти стеклянными. Они знали: никто не встанет на защиту слабых. Ни монахиня у дверей, притворяющаяся глухой, ни старшая надзирательница, делающая вид, что проверяет постельное бельё.

Они обходили ряды коек медленно, нарочито громко шагая, чтобы каждая младшая почувствовала, как дрожит пол под их ногами. Остановившись у чьей-то постели, старшая могла просто протянуть руку — и девочка, не дожидаясь угроз, вытаскивала из-под подушки заветный кусок хлеба, спрятанную пуговицу или даже нитку, которой собиралась пришить рукав. Если жертва медлила, следовал удар — короткий, но точный: в плечо, по лицу, в живот. «Не заставляй меня искать», — шипела старшая, и в её голосе звучала такая уверенность, что сомнения отпадали сами собой.

Иногда ритуал превращался в спектакль. Старшая могла заставить младшую раздеться до рубахи, чтобы убедиться, что та не спрятала что-то в одежде. Или заставить открыть рот, проверяя, не держит ли она за щекой кроху еды. Эти унижения были частью воспитания — негласно одобренного, молчаливо принятого.

Монахини либо не замечали происходящего, либо считали это частью «закалки духа». Сестра Марта, проходя мимо, могла бросить: «Слабых жизнь не щадит», — и её слова звучали как благословение для тех, кто уже усвоил закон приюта: выживает тот, кто умеет бить первым.

А ночью, когда старшие засыпали, насытившись властью, младшие тихо плакали в подушки, зажимая рты руками. Они знали: завтра всё повторится. И они снова будут отдавать — потому что иначе не останется даже надежды на то, что следующий день они переживут.

Ария помнила свой первый опыт столкновения с этой безжалостной системой так отчётливо, будто всё происходило не годы назад, а вчера.

В тот вечер она спрятала под подушкой кусок украденного с кухни хлеба. Не из жадности, не из бунтарства — просто голод стал невыносимым. Желудок сводило судорогами, перед глазами плыли тёмные пятна. Она дождалась, пока в спальне установится глухая тишина, и лишь тогда вытащила свою драгоценную добычу из потайного места. Она едва успевала прожевать чёрствую корку, как вдруг почувствовала, что что-то не так.

Холодные, жёсткие пальцы впились в её плечо. Ария вздрогнула, едва не подавившись, и открыла глаза. Над ней склонились три фигуры — силуэты в полумраке, лишённые человеческих черт. Одна девочка крепко держала её за руки, лишая возможности сопротивляться. Вторая уже шарилась под подушкой, в карманах, переворачивала края матраса. Третья нависла над лицом Арии, дыша кислой вонью несвежей еды:

— Отдашь сама — не тронем. Нет — в помойку кинем.

Голос звучал ровно, без гнева, без эмоций — как у человека, который повторяет заученный текст. Ария сжала кулак. В нём, словно последнее сокровище, лежал недоеденный кусок хлеба. Она молчала. Молчала, хотя сердце колотилось о рёбра, будто пыталось вырваться наружу. Молчала, хотя каждый вдох обжигала паника.

Тогда старшая — Лика — резко схватила её за волосы и дёрнула вверх. Боль пронзила череп, слёзы брызнули из глаз, но Ария всё ещё не разжимала кулак. Она знала: если отдаст хлеб, завтра не будет даже этой крохи. Если сдастся сейчас — сломается навсегда.

Лика не стала ждать. Её пальцы, крепкие, как железные клещи, впились в запястье Арии, разогнули пальцы один за другим. Хлеб выпал. В ту же секунду Лика ударила по лицу — коротко, точно, с такой силой, что в ушах зазвенело, а перед глазами вспыхнули разноцветные круги.

— В следующий раз будешь умнее, — прошипела она, глядя на Арию с холодным презрением.

Лика развернулась и ушла, а две другие девочки последовали за ней, словно тени, растворяясь в темноте. Хлеб, её единственный на тот день ужин, они забрали с собой.

Ария тихо лежала на кровати, дрожа всем телом. Слёзы катились по щекам, но она не издавала ни звука — знала, что плач только раззадорит хищниц. Она медленно подняла руку и прикоснулась к ушибленному месту. Боль пульсировала в виске, но куда сильнее болела другая рана — та, что осталась после осознания: здесь, в приюте, никто не защитит. Здесь каждый сам за себя.

С того дня любую вещь, которую она находила и которую могли отобрать, она училась прятать. Искала всё новые и новые способы защитить то, что с таким трудом приобрела. Блокнот — под половицу: она осторожно приподнимала шершавую, рассохшуюся доску, укладывала туда свою единственную драгоценность и возвращала доску на место так аккуратно, чтобы ни единая трещинка не выдавала её тайника. Кусок хлеба — в рукав рубахи, в потайной. Она терпеливо ждала, дожидаясь мгновения, когда можно будет улучшить минуту и проглотить его, не привлекая ничьих взглядов. Слёзы — под маской безразличия: Ария выработала привычку смотреть прямо, не моргая, с пустым, почти стеклянным взглядом, будто всё происходящее её не касалось, будто она уже превратилась в тень, скользящую по сырым коридорам приюта. Эти уроки выживания не избавили её от горького осадка: в мире, где голод и страх правят бал, человечность становится недостатком.

Но даже эта выученная осторожность, эта изошрённая наука выживания не спасала от унижений. В приюте святой Агнесс жестокость была не случайным всплеском злобы — она

превратилась в ежедневную повинность, которую старшие воспитанницы исполняли с холодным, почти профессиональным усердием. Они не просто отнимали — они методично ломали, находя новые способы показать младшим их место в этой иерархии боли.

Иногда они устраивали «испытание холодом». Зимой, когда в коридорах свистел ледяной ветер, пробираясь сквозь трещины в оконных рамах и заставляя дрожать даже тех, кто был одет, кого-нибудь из младших выталкивали на крыльцо, за дверь — босиком, в одной тонкой ночной рубашке. «Стоишь час. Не шевелишься. Не плачешь, — командовала Лика или кто-то из её приближенных, стоя в тёплом коридоре и наблюдая за жертвой с холодным интересом. — Иначе завтра будешь стоять два часа».

Девочка застывала у стены, пальцы ног немели, кожа краснела и покрывалась мурашками, а потом — синеватыми пятнами. Слезы замерзали на щеках, но плакать вслух было нельзя: за плач следовал новый штраф — ещё десять минут, ещё двадцать. Ария видела, как одна девочка, не выдержав, опустилась на корточки, пытаясь согреть ступни руками. Одна из старших вышла за дверь и ударила её по спине палкой: «Терпи. Хочешь стоять и завтра?» И девочка снова выпрямилась, дрожа всем телом, глядя перед собой невидящими глазами, пока время, казалось, не превращалось в ледяную вечность.

Другие предпочитали «игру в молчанку». Жертву выбирали утром и объявляли: «Сегодня ты не говоришь. Ни слова. Ни шёпота. Ни вздоха». Правила были просты и беспощадны: любое звуковое проявление — повод для наказания. Если девочка случайно всхлипывала во сне, если кашляла, если невзначай стонала от боли — её били по губам. Ладонью, кулаком, иногда — ремнём, который кто-то из старших тайком выкрал у надзирательницы.

Ария помнила, как одна малышка, не выдержав, прошептала: «Мне больно» — и тут же получила удар, от которого у неё треснула губа. Кровь капала на рубашку, а вокруг раздавался безрадостный смех: «Ну что, научилась молчать?» Девочка стояла, прижав ладонь к разбитой губе, и молчала, потому что знала: если заплачет, будет хуже.

Были и те, кто любил «выбор» — самую изощрённую пытку, играющую на стыде и страхе. Девочке ставили условие: «Либо отдаёшь свой хлеб, либо признаёшься, что украла нитки из кладовки». Нитки, конечно, никто не крал. Но если жертва отказывалась отдать хлеб, её заставляли встать на колени и повторять: «Я воровка. Я виновата». Слова заставляли повторять до тех пор, пока они не начинали звучать глухо, почти безжизненно, а в глазах читалась пустота — не раскаяние, а полное опустошение. Если же девочка отдавала еду, её всё равно обвиняли — теперь уже в жадности: «Смотри, припасла еду. Себе любой оставила. Не наелась все еще?». И тогда наказание становилось двойным: её могли лишить ужина, заставить мыть полы в одиночку или подвергнуть ещё одному «испытанию», чтобы «научить честности».

Монахини видели все. Они проходили мимо, иногда останавливались, смотрели — но редко вмешивались. Их лица оставались бесстрастными, словно происходящее было не более чем детской шалостью. Если же младшая осмеливалась пожаловаться, ей отвечали холодно: «Слабых жизнь не щадит. Раз слабая, то учись терпеть». А иногда — хуже: «Если ты не можешь защитить себя, значит, заслужила».

Если старшие не хотели «учить» младших — становились предметом издёвок и жестокости. Их «воспитывали» до тех пор, пока в голове не исчезали все вольные мысли. Такая сломанная девочка была готова выполнять любой приказ. Такой была и Лика. Такой она хотела сделать и Арию.

Настоятельница придерживалась такой идеологии: «Мир делится на хищников и жертв. Любая из этих ролей угодна богу. Жертвы несут наказание за то, что известно лишь богу. А хищники являются кнутом господня. Они карают виновных».

Ария знала: чтобы выжить, нужно стать невидимой. Нужно двигаться бесшумно, говорить только тогда, когда это неизбежно, прятать даже мысли за маской безразличия. Но даже

невидимость не гарантировала безопасности. Потому что в приюте святой Агнесс жестокость не искала повода — она сама создавала их.

Год назад Ария стала невольной свидетельницей сцены, от которой ей было не по себе. В углу общей гостиной, куда редко дотягивался тусклый свет керосиновой лампы, Лика и две её приближённые подруги окружили Марию — самую младшую в их группе. Марии было всего пять. Её тонкие плечи вздрагивали, а в широко раскрытых голубых глазах стоял неприкрытый, детский страх — она ещё не научилась прятать его за маской безразличия, как делали старшие.

— Ты украла нитки, — холодно произнесла Лика, сверля Марию взглядом. Нитки действительно пропали из кладовки накануне, но Ария уже по глазам Лики поняла: Мария к этому была не причастна и Лика это тоже знала.

— Я не брала! — всхлипнула девочка, и слёзы тут же побежали по её бледным щекам. Она инстинктивно отступила назад, но за спиной уже стояла одна из приближенных Лики, преграждая путь к отступлению. — Тогда докажи, — в голосе Лики прозвучала ледяная решимость. Она вытащила из кармана ржавую, грязную швейную иглу, кончик которой тускло блеснул в полумраке.

Ария хотела крикнуть, шагнуть вперёд, но что-то сковало её изнутри. Она лишь вжалась в стену, сжимая кулаки так, что ногти впились в ладони. «Не вмешивайся, — шептал внутренний голос. — Иначе будешь следующей».

— Уколи палец, — продолжила Лика, протягивая иглу. — Если не врёшь — кровь будет чистой. Если врёшь — почернеет.

Мария затрясла головой, отворачиваясь, но Лика резко схватила её за руку. Пальцы старшей были сильными, безжалостными. Она прижала остриё иглы к подушечке указательного пальца Марии и с силой вонзила иголку до ногтя.

Тонкий вскрик разорвал тишину. На коже выступила капля крови — яркая, алая, как маковый цветок. Она повисла на мгновение, а потом медленно скатилась по пальцу, оставив на белой рубашке крошечное багровое пятнышко.

Лика нахмурилась, разглядывая ранку. В её глазах мелькнуло разочарование — кровь не почернела, значит, «доказательство» не сработало. Но отступить она не собиралась.

— Это потому что ты ещё маленькая, — процедила она. — Значит, ты не сама взяла, а тебя заставили. Кто?

Мария молчала, дрожа всем телом. Её губы беззвучно шевелились, но ни одного слова не вырвалось наружу. Она смотрела то на Лику, то на окровавленный палец, то на помощниц старшей, чьи лица в полумраке казались личинами неведомых чудовищ.

— Ну?! — Лика подняла руку, замахнувшись для удара. — Говори, или получишь по лицу!

В этот момент дверь спальни скрипнула. На пороге возникла сестра Марта. Её силуэт, окутанный сумраком, на мгновение замер. Она окинула взглядом сцену: Лика с занесённой рукой, маленькая Мария с окровавленным пальцем, две другие старшие девочки, застывшие в ожидании.

— Опять балуетесь? — произнесла монахиня будничным тоном, будто наблюдала не жестокую расправу, а детскую шалость. — Смотрите, чтобы я не пожаловалась настоятельнице.

И, не добавив больше ни слова, она развернулась и вышла, тихо притворив за собой дверь.

Тишина, наступившая после её ухода, была тяжелее криков. Лика медленно опустила руку, скривив губы в усмешке.

— В следующий раз не отмалчивайся, — бросила она Марии, швырнув окровавленную иглу на пол. — А то хуже будет.

Девочки разошлись, словно хищники, потерявшие интерес к жертве. Мария осталась стоять, прижимая к груди раненый палец. Слёзы капали на пол, смешиваясь с крошечной лужицей крови у её ног. Она не плакала вслух — теперь она научилась молчать даже в боли.

Ария отстранилась от стены. В горле стоял ком, а в груди разгоралось незнакомое, жгучее чувство — не страх, нет. Что-то другое. Гнев? Ненависть? Или просто осознание: в этом мире, где взрослые закрывают глаза, а сильные терзают слабых, выжить можно лишь одним способом — стать как Лика?

Она подошла к Марии, молча достала из рукава чистую тряпицу и протянула ей. Та взглянула на Арию с благодарностью, но ничего не сказала. Только кивнула, принимая помощь.

В тот вечер Ария долго не могла уснуть. Перед глазами стояла картина: капля крови на детской руке, равнодушный взгляд сестры Марты, ухмылка Лики. Девочка не могла понять, почему Лика такая? Неужели другого выхода нет? Что если и Арии придётся стать такой?

Ария узнала о смерти Марии случайно — обрывок разговора монахинь за дверью трапезной врезался в сознание, словно осколок льда.

— Сепсис, — произнесла сестра Клара буднично, помешивая ложкой остывший чай. — Рана на пальце воспалилась, потом жар, бред. Через три дня отошла.

— Жаль, конечно, — откликнулась вторая монахиня, не поднимая глаз от вышивки. — Но сама виновата: не надо было грязными руками трогать. Видимо уже успела где-то нагрешить, вот господь и покарал. Ещё и святую землю кровью оскорбили...

Ария замерла в коридоре, зажав рот ладонью. Слова звучали странно, будто Мария просто ушла куда-то — в кладовку за нитками, на двор собрать опавшие листья. Но внутри что-то треснуло: перед глазами всплыла картина — окровавленный палец, игла, тусклый свет. Она нашла сестру Марту у колодца.

— Что такое сепсис? — выпалила Ария, едва сдерживая дрожь в голосе. Монахиня выпрямилась, вытерла руки о передник.

— Это когда кровь портится, — ответила она равнодушно. — Бактерии попадают в рану, а потом — она щёлкнула пальцами, имитируя вспышку. — Всё.

— А вылечить нельзя? — с надеждой спросила девочка.

— Можно, если вовремя заметить. Хватит спрашивать глупости. Марш работать.

Ария пыталась представить, как это — «кровь портится». В её воображении возникали образы: чернила, растекающиеся по белой ткани; гнилая вода в стоячем пруду; чёрная паутина, оплетающая вены. Но реальность была проще и страшнее: Мария уже лежала где-то в холодном чулане, а её кровь — та самая алая, как маковый цвет, — застыла навсегда.

Вечером Ария сидела на краю кровати, сжимая в кулаке ту самую тряпицу, которую когда-то дала Марии. В голове крутился вопрос: «А если бы я тогда вмешалась?»

Но «если бы» рассыпались в пустоте. Осталась только горькая правда: Мария умерла в одиночестве, а мир продолжал вращаться. Ария прижала тряпицу к лицу, вдыхая слабый запах льняного масла и слёз. Впервые в жизни она осознала: жестокость не всегда выглядит как игла или удар. Иногда она прячется в тихих словах, в равнодушии, в простом «сама виновата». И от этого было страшнее всего.

Когда весть о смерти Марии разнеслась по приюту, Лика стояла у окна в общей гостиной, сцепив пальцы за спиной. Она не проронила ни слова — только её вид, обычно холодный и цепкий, будто затуманился на миг, а в глубине глаз мелькнули нехарактерные отблески вины.

Ария заметила это краем глаза. Она как раз проходила мимо, неся стопку выстиранного белья, и невольно замедлила шаг. Лика не повернулась к ней, но Ария успела уловить: в её лице не было привычной жёсткой усмешки, не было торжества, не было даже равнодушия. Было что-то другое — будто трещина в броне, которую Лика так тщательно выстраивала.

На следующий день одна из старших девочек, во время очередного «учения» спросила:

— А испытание с иглой? Мы же обычно...

Лица перебила, не глядя на неё:

— Лишних иголок больше нет.

Ответ прозвучал сухо, буднично — так, словно речь шла о сломанной пряжке или потёртой пуговице. Но Ария знала: иголки в приюте были всегда. Их хранили в жестяной коробке в кладовке, и запасов хватало на годы вперёд.

«Она не хочет», — впервые подумала Ария, и эта мысль обожгла её изнутри.

С тех пор, как Мария умерла от сепсиса, «испытание иглой» больше не повторялось. Лица по-прежнему держала дистанцию, по-прежнему говорила резкими, рублеными фразами, по-прежнему требовала подчинения. Но иглу она больше не доставала. Арии казалось, что за этим молчанием скрывается нечто большее, чем просто отсутствие иголок. Возможно, перед её глазами до сих пор стояла картина: Мария, сжимающая окровавленный палец, капля крови, скатывающаяся по коже Или, может, в тот момент, когда монахини равнодушно обсуждали «оскорбление приюта кровью», в Лице что-то надломилось. Но вслух никто этого не произносил. Все понимали: жестокость Лицы — не её выбор, а выживание.

Если она не покажет силу сегодня — завтра её саму загонят в угол. Если не заставит младших подчиняться — сама станет жертвой. Система работала как капкан: либо ты кусаешь, либо кусают тебя. И всё же иногда, когда Лица оставалась одна, Ария замечала, как та замирает у окна, глядя на двор, где когда-то бегала Мария. В эти мгновения её лицо теряло привычную жёсткость, а пальцы непроизвольно сжимались, словно пытаясь удержать что-то невидимое — или, наоборот, стряхнуть с себя остатки воспоминаний.

Ария не знала, чувствует ли Лица раскаяние. Возможно, нет. Но что-то точно изменилось.

Так приют превращал детей в тени — ещё до того, как они сталкивались с настоящими чудовищами за его стенами. В этих сырых, пропитанных запахом плесени стенах сама жизнь становилась медленной, неумолимой трансформацией: из ребёнка с мечтами и надеждами — в существо, умеющее только выживать.

Младшие учились молчать. Не просто сдерживать слова — а гасить в себе всякий звук, даже дыхание, если рядом проходила старшая. Они осваивали искусство незримости: двигаться по коридорам, прижавшись к стенам, есть, не издавая ни шороха, плакать, зажав рот рукой. Молчание становилось их щитом, хотя и непрочным: порой достаточно было случайного всхлипа или кашля, чтобы навлечь на себя гнев.

Они учились прятаться. Не только в чуланах или за грудями ветхого белья — но и внутри себя. Запирать чувства за семью замками, скрывать мысли за пустым взглядом, прятать последние крохи достоинства так глубоко, чтобы никто не смог их вырвать. Некоторые находили убежища в фантазиях: представляли, как однажды выйдут за ворота и окажутся в мире, где нет решёток на окнах и окриков надзирательниц. Другие — в воспоминаниях о временах до приюта, когда ещё были дома, с семьёй, в тепле.

Они учились терпеть. Терпеть голод, от которого сводило желудок. Терпеть холод, пробирающийся под дырявые одеяла. Терпеть боль от ударов, царапин, ушибов. Терпеть унижения, от которых горели щёки и сжимались кулаки. Терпение становилось их второй кожей — грубой, ороговевшей, нечувствительной к большинству ран. Но иногда под этой кожей всё же прорывалось: тихий стон во сне, непроизвольный всхлип, дрожащая рука, вытирающая слёзы.

Старшие учились ломать. Не в порыве ярости — а методично, как ремесленники, осваивающие новое мастерство. Они изучали слабые места: кто боится темноты, кто не переносит холода, кто дорожит последней пуговицей на рубашке. Они придумывали ритуалы подавления, облекая жестокость в подобие правил: «испытание холодом», «игра в молчанку», «выбор». Эти ритуалы придавали насилию видимость порядка, превращали его в обыденность.

Они учились получать удовольствие от власти. От того, как сжимаются от страха глаза младшей, как дрожит её голос, как она готова отдать последнее ради минутной передышки.

Для некоторых это становилось наркотиком: чем больше боли они причиняли, тем сильнее нуждались в новых доказательствах своей силы. Другие — те, кто ещё помнил, каково быть слабой, — делали это с холодным расчётом: «Если я не буду жестокой, станут жестоки ко мне».

И те, и другие знали: если попытаешься дать отпор, ночью тебя могут избить. Без свидетелей, без криков — просто внезапная тьма, чьи-то руки, зажимающие рот, короткие и сильные удары, от которых темнеет в глазах. Или облить ледяной водой — не просто чтобы разбудить, а чтобы заморозить душу, чтобы каждое утро начиналось с дрожи и отчаяния. Или подстроить «падение» с лестницы — так, чтобы никто не смог доказать умышленность, чтобы всё выглядело как несчастный случай.

В приюте святой Агнесс не было добра и зла — только выживание. Дети становились сломленными, потому что сломанный человек не обращает внимания на боль, не помнит обид, не мечтает. Такие люди просто существуют — пока не наступит день, когда они растворятся в этом сером, жестоком мире.

Иногда Ария позволяла себе короткую, запретную мысль: а что, если просто сбежать? Мысль вспыхивала в голове, как искра, и тут же гасла под грузом реальности. Но в редкие минуты, когда ночной холод пробирался сквозь дырявое одеяло, а в ушах стоял монотонный стук дождя по крыше, она снова и снова возвращалась к этому вопросу.

Но куда бежать? За массивными чугунными воротами приюта простирался город — не спасительный оазис, а лабиринт опасностей. Улицы таили угрозу на каждом шагу. Дети старше десяти уже знали неписанные правила выживания за пределами приюта: не смотреть стражникам в глаза, держаться подальше от портовых складов, где вербовали «добровольцев» для тяжёлых работ, прятаться в подворотнях при звуке кованых сапог.

Город жил по своим законам. В тёмных закоулках валялись трупы бродячих собак, иногда — людей. Никто не обращал внимания: утром мусорщики сметут всё в общую яму за городом. По ночам до приюта доносились крики — то ли пьяные драки, то ли что-то похуже. Порой слышался звон металла, сдавленные стоны, торопливые шаги. Ария научилась не прислушиваться, не представлять, что могло происходить там, за стенами приюта.

Она знала: побег не даст свободы. Без денег, без связей, без крыши над головой ребёнок становился добычей. Город пожирал слабых: кого-то забирали в работные дома, где дети трудились до изнеможения; кого-то уводили в тёмные подвалы, откуда не возвращались; кто-то просто исчезал в лабиринте трущоб, становясь частью городской тени.

Приют был частью этой системы. Он не спасал — он лишь учил выживать в ней. Здесь не было доброты, только жёсткие правила: молчи, терпи, не выделяйся. Здесь не учили любить — учили не чувствовать. Не плакать, когда больно. Не жаловаться, когда голодно. Не надеяться, что станет лучше.

И Ария выживала. Она отточила искусство невидимости: двигаться бесшумно, говорить только по необходимости, смотреть сквозь людей, чтобы они смотрели сквозь неё. Она научилась прятать эмоции так же тщательно, как прятала свой блокнот под половицу. Научилась есть быстро и аккуратно, не оставляя следов пищи на одежде, чтобы не привлекать внимания. Научилась спать вполглаза, чтобы не пропустить окрик ночной надзирательницы.

В её мире не существовало «потом» — только «сейчас», только очередной день, который нужно пережить. Она знала: единственный способ остаться в живых — стать невидимой. Не тенью даже, а чем-то ещё более незаметным — дуновением воздуха, пятном на стене, забытой вещью в углу.

Иногда, глядя в мутное зеркало в умывальне, она пыталась разглядеть себя — настоящую, ту, что была до приюта, до правил, до страха. Но видела лишь бледное лицо с пустыми глазами, волосы, спутанные от сырости, и руки, покрытые мелкими шрамами. «Это я?» — думала она, но не находила ответа.

А потом раздавался звон колокола, и снова начинался новый день — такой же, как предыдущий, такой же, как следующий. День, где не было места мечтам о побеге, потому что побег — это тоже надежда. А надежда, как знала Ария, делает тебя уязвимым и слабым.

Повседневная жизнь Арии была чередой монотонных, изматывающих ритуалов, где каждый час подчинялся жёсткому распорядку, а малейшее отклонение грозило болью или унижением. В этом мире не существовало «хочу» или «не хочу» — только «надо», только «должна», только бесконечная череда действий, выверенных до автоматизма. Здесь время измерялось не часами и минутами, а ударами колокола, окриками надзирательниц и тяжёлыми вздохами уставших детей.

В пять утра резкий звон благовеста разрывал сон всего приюта. Он врвался в сознание, как ледяной поток, смывая остатки грёз и тепла. Ария вскакивала ещё до того, как благовест громыхал в сыром воздухе спальни. Она едва успевала протереть глаза, прогоняя липкую пелену полусна, но уже знала: промедление смерти подобно.

Сестра Марта не терпела медлительности. Её шаги в коридоре звучали как приговор — размеренные, тяжёлые, заставляющие сердце сжиматься. Ария помнила тот день, когда монахиня вылила ведро помоев на постель одной девочки, замешкавшейся с уборкой. Запах гнили стоял в спальне ещё несколько дней, а девочка, заливаясь слезами, мыла пол под фальшивыми насмешливыми взглядами старших. Этот урок Ария усвоила навсегда: лучше не испытывать судьбу.

Быстрыми, выверенными движениями она начинала свой утренний обряд. Сначала — натянуть грубую рубаху, царапающую кожу. Ткань уже потеряла цвет от бесконечных стирок, а швы натирали плечи, но Ария не обращала внимания. Затем — заправить койку. Каждое движение должно было быть точным: одеяло — без единой неровности, простыня — без малейшего залома. Она знала: даже крошечная складка могла стать поводом для наказания.

Далее — уборка. Тряпка скользила по полу, исследуя каждый сантиметр, выискивая невидимые пылинки. Ария заглядывала в углы, проводила пальцами по плинтусам, проверяла подоконник. В воздухе витал запах сырости и щёлока — неизменный спутник приюта. Сквозняк гулял по спальне, забираясь под одежду, но она не обращала внимания. Замятая простыня? Десять ударов плетью. Пыль в углу? Час стояния на коленях в холодной трапезной. Недостаточно быстро выполнила поручение? Лишение ужина.

Пока она работала, вокруг разворачивалась привычная утренняя картина. Где-то в дальнем углу спальни старшая девочка толкала младшую, заставляя её быстрее заправлять постель. У окна одна из воспитанниц тихо всхлипывала, пытаясь скрыть слёзы — видимо, допустила какую-то ошибку. В дверях уже маячила тень сестры Марты, наблюдавшей за процессом с холодным, оценивающим взглядом.

Закончив уборку, Ария вставала у своей койки, опустив глаза, ожидая проверки. Сестра Марта медленно обходила спальню, останавливаясь у каждой постели. Она проводила пальцем по поверхностям, заглядывала в углы, принохивалась, словно ищейка. Когда монахиня подошла к Арии, та задержала дыхание. Сестра Марта осмотрела постель, провела рукой по одеялу, наклонилась, чтобы проверить пол под кроватью.

— Порядок, — наконец произнесла она, и Ария позволила себе выдохнуть.

К шести часам она уже стояла в зале для молитв. Стены, покрытые осыпающейся штукатуркой, словно отражали внутреннее состояние воспитанниц — потрескавшиеся, обшарпанные, лишённые тепла. Ряды девочек выстроились в строгом порядке, глаза опущены, руки сложены перед собой. Сестра Марта следила за каждым движением: за зевком — десять ударов ремнём, за косой взгляд — час стояния на коленях в углу. Ария научилась молиться с закрытыми глазами, отрешившись от окружающего. Так легче было перенести бесконечное чтение псалмов и монотонный голос монахини, который сливался с шумом дождя, стучавшего по

крыше. Она повторяла слова механически, не вдумываясь в смысл, позволяя сознанию плыть где-то вдали от этого места.

В семь часов наступил завтрак — не облегчение, а ещё одно испытание. На стол ставили овсянку, в которой то и дело попадались черви. «Не привередничайте, другого не будет», — хрипло бросала сестра Марта, проходя мимо. Ария глотала пищу, стараясь не думать о вкусе, о противном хрусте на зубах. Голод всё равно оказывался сильнее отвращения. Она ела быстро, не поднимая глаз, стараясь не привлекать внимания. Рядом кто-то шёпотом жаловался на боль в животе — видимо, съел слишком много, надеясь насытиться. Ария знала: переедание чревато рвотой — в еду иногда для сытности подмешивали траву, но она вызывала сильную тошноту.

С восьми до полудня её ждала работа в прачечной. Это было едва ли не хуже утренней уборки. Здесь воздух был пропитан едким запахом щёлока, а руки постоянно ныли от холодной воды. Ария стирала бельё для портовых рабочих — грубое, заскорузлое, пропитанное потом и солью. Она тёрла ткань о стиральную доску, пока пальцы не начинали дрожать от усталости. Трещины на коже болели, но останавливаться было нельзя: старшая надзирательница за малейшую задержку била прутком по спине. Иногда Ария смотрела на свои руки — тонкие, с обкусанными ногтями, покрытые красными пятнами от химикатов — и думала, что они уже не похожи на руки ребёнка. В углу прачечной всегда стояла бадья с тёплой водой, куда девочки окунали руки, пытаясь хоть немного согреть их, но это редко помогало.

Обед в полдень не приносил радости. На стол ставили суп из картофельных очисток — жидкую, безвкусную похлёбку, едва утолявшую голод. В помещении всегда было холодно, а пар от супа лишь ненадолго согревал лицо. Она отмеряла каждый глоток, зная: если проглотить слишком много такого супа, к горлу подкатит тошнота. Лучше оставить немного в миске, чем потом мучиться от рвоты.

С часу до пяти её ждали уроки грамоты и счёта у сестры Марфы. Класс располагался в дальнем крыле приюта — в комнате с холодными каменными стенами и узкими окнами, через которые едва пробивался свет. Девочки сидели за грубыми столами, выводя буквы дрожащими от усталости руками. Ошибка в написании буквы или неверный ответ по арифметике означали карцер — тёмную, сырую комнату, где приходилось стоять на коленях на холодном каменном полу. Сестра Марфа любила повторять: «Знание даётся через боль. Ничего не бывает просто так. Все надо заслужить». Ария зубрила буквы и цифры, повторяя их про себя снова и снова, чтобы не ошибиться. Она старалась не смотреть на других девочек — их пустые, измученные взгляды лишь усиливали чувство безысходности. Иногда она ловила на себе взгляды — такие же пустые, как её собственный, — и понимала: они все здесь одинаковы.

С пяти до семи — помощь на кухне. Здесь тоже царили страх и молчание. Украсть кусок хлеба? Невозможная роскошь. Если кого-то ловили на воровстве, били по лицу, а потом заставляли стоять у входа в трапезную, пока остальные ели. Ария чистила овощи, мыла посуду, таскала ведра с водой, стараясь не смотреть на котлы с едой. Запах жареного мяса, предназначенный для настоятельницы, только усиливал чувство голода. Она двигалась бесшумно, как тень, не задевая кастрюли, не шумя посудой. Каждое неосторожное движение могло привлечь внимание старшей поварихи, а её кулак был тяжёлым, как молот.

Ужин в семь — суп с ненавистой травой. В трапезной всегда было шумно — девочки ели быстро, почти не разговаривая, лишь изредка перешёптываясь. Ария старалась не слушать их шёпота, не вникать в их страхи и жалобы. Она просто ела, глядя в одну точку, иногда даже не моргая.

В восемь — вечерняя молитва. Ария стояла в ряду других девочек, глядя на мерцающий огонёк свечи. В этот момент ей казалось, что мир сузился до этого тусклого света, до монотонного голоса монахини, до запаха воска и сырости. Она повторяла слова не вдумываясь, позволяя телу двигаться по привычке. После молитвы — короткий перерыв на умывание и подго-

товку ко сну. Но даже это время не принадлежало ей: нужно было успеть всё сделать до того, как сестра Марта объявит отбой.

Потом — сон. Если повезёт, никто не разбудит для «работы» — мытья полов в покоях настоятельницы. Но чаще всего сон прерывался окриком: «Ария, вставай! Пол грязный!» Она поднималась, не задавая вопросов, не жалуясь, не пытаясь сопротивляться. Она просто делала то, что от неё требовали.

Ария давно перестала мечтать. Она знала: её не возьмут в услужение — слишком худая, безродная, «не приглянётся господам». Кто возьмёт сироту без гроша? В приюте ей не раз повторяли: «Ты — никому не нужная оборванка. Твоё место здесь, и другого не будет». Эти слова въелись в сознание, как щёлок в кожу, — вытравить невозможно.

В один из дней небо нависло низко, затянутое свинцовыми тучами, из которых без устали лилась холодная морось. Воздух пропитался запахом сырости, гниющих отбросов и конского навоза — обычным благоуханием городских окраин. Под ногами хлюпала грязь, развезённая сотнями сапог и колёс; лужи отражали серость этого мира, будто зеркала, разбитые на тысячи осколков.

Ария брела с корзиной мокрого белья к сушильным верёвкам за прачечной. Платье её давно потеряло цвет от бесконечных стирок, а башмаки промокли насквозь — но она этого будто не замечала.

Она уже почти дошла до верёвок, когда сквозь пелену дождя мелькнул неожиданный блик. С вершины холма медленно спускалась карета.

Она двигалась так плавно, будто скользила над грязью, не касаясь земли. Кучер в ливрее сидел прямо, не смея даже взглянуть на свою пассажирку — лишь крепко держал вожжи, не позволяя себе ни малейшего поворота головы.

Ария прижалась к стене прачечной, прячась в тени, но не отрывая взгляда. Дверца кареты приоткрылась, и на мгновение девочка увидела ту, ради кого, казалось, замер весь мир.

Леди была закутана в плащ — чёрный, как самая глубокая ночь, без единого отблеска. Он словно поглощал свет, делая её фигуру почти призрачной. Но когда она чуть сдвинулась, из-под плаща проглянуло платье — и Ария затаила дыхание. Ткань словно тихо светилась, как лунный свет на воде, храня в себе отблески далёких звёзд.

Но самое странное было не в наряде. У леди была почти белая кожа.

Ария прищурилась, пытаясь понять, не обманывают ли её глаза.

После короткой остановки леди зашла обратно в карету и та проплыла мимо, оставив после себя лишь лёгкое облако водяных брызг и странное ощущение нереальности. Ария ещё долго стояла, прижимая к груди корзину с бельём. В ушах шумел дождь, под ногами хлюпала грязь, а в голове крутилась не мысль о богатстве, не мечта оказаться на месте той дамы — а совсем другое.

Все слышали слухи, что богачи — это другие существа. Но Ария думала иначе. Не людьми были как раз те, кто жил в этих грязных кварталах, кто превратился в тени, в механизмы, выполняющие приказы. Они забыли, как улыбаться, как мечтать, как просто жить. Их лица стали маской покорности, их глаза — пустыми колодцами, их голоса — шёпотом, боясь привлечь внимание.

Ария боялась думать об этом — но слухи, словно ядовитый туман, просачивались сквозь щели ветхих стен приюта, оседали в ушах по ночам, не давая уснуть. Они были невнятными и обрывочными, однако от этого становилось ещё страшнее.

Говорили о «бледных господах» — о тех, кто жил в огромных особняках, за коваными решётками, за тяжёлыми шторами, не пропускавшими ни луча света. В приюте шептались, что в этих домах никогда не открывают окон: ни летом, ни зимой, ни в ясный полдень, ни в лунную

ночь. И будто бы сквозь толстые стены никогда не доносятся звуки — ни смеха, ни разговоров, ни музыки. Только тишина, густая и неподвижная, как стоячая вода в заброшенном колодце.

Воду они, дескать, выплёвывали, будто она жгла им глотки. А вот то, другое то, что доставляли им в тёмных сосудах, завернутых в чёрную ткань, — они поглощали с тихим, почти звериным удовлетворением.

Кто-то шептал, что это кровь. Говорили, будто для этого есть тайные места, куда уводят тех, кто слишком беден, кто никому не нужен, кто не оставит после себя ни слёз, ни жалоб.

Кто-то возражал: «Нет, это не кровь. Это настойка. Лекарство для бледности. Они пьют его, чтобы кожа оставалась белой, как мрамор, чтобы глаза светились, как звёзды, чтобы время над ними не властвовало».

Но никто не знал наверняка. Ни один человек из приюта никогда не бывал в тех домах. Ни один из местных не мог рассказать, что творится за высокими заборами. Только страх, липкий и холодный, оставался после таких разговоров.

Ария старалась не слушать. Старалась не представлять. Но образы сами всплывали в голове: тёмные комнаты, где горят не свечи, а странные лампы, излучающие бледно-зелёный свет; длинные столы, на которых стоят те самые сосуды, укутанные в чёрное; фигуры в белых одеждах, беззвучно скользящие по паркету, будто призраки, забывшие, как быть людьми.

Она вспоминала леди в светящемся платье — ту, чья кожа была похожа на снег. Была ли она одной из них? Или, может, она единственная, кто сохранил в себе что-то человеческое? Ария не знала. И боялась узнать.

По ночам, когда ветер стучал в окно, а крысы скреблись под кроватями, ей казалось, что где-то там, на холме, в одном из тех домов, кто-то тоже смотрит в темноту. Кто-то, чей взгляд проходит сквозь стены, сквозь расстояния, сквозь саму ночь. И этот взгляд — холодный, внимательный, голодный — на мгновение задерживается на ней.

Она зарывалась лицом в подушку, стараясь заглушить мысли, отогнать видения. Но слухи, как туман, не рассеивались. Они оседали в сознании, пропитывали его, словно сырость — старую ткань. .

Одно она знала точно: если «бледные господа» и существуют, то они — не люди. Но и те, кто живёт внизу, в грязи и нищете — тоже уже не совсем люди.

И где-то между этими двумя мирами, между холодом холма и смрадом приюта, между слухами и реальностью, между страхом и надеждой — жила она. Ария. Ещё не тень, но уже не та, кем была когда-то.

Но самое страшное — говорили о детях, которые уходили в город и не возвращались. Не просто пропадали, а исчезали бесследно. Вот ещё вчера они бегали по двору приюта, смеялись, дрались за кусок хлеба, строили шалаши из старых тряпок, перешёптывались перед сном — а сегодня их нет. Ни следов, ни криков, ни даже слухов. Никаких свидетельств того, куда они могли уйти, никаких намёков на причину. Только пустые койки в спальне, которые быстро занимали новые сироты — такие же худые, испуганные, ещё не успевшие привыкнуть к запаху сырости и щёлока.

Сестра Марта лишь качала головой, произнося: «Такова их судьба. Такова воля бога». Её голос звучал ровно, без тени сочувствия или тревоги. Монахини читали молитвы — длинные, монотонные строки, которые сливались в единый гул, не приносящий утешения. А воспитанницы переглядывались. В их взглядах читался немой вопрос: «А кто следующий?»

Ария чувствовала, как этот вопрос ползёт по коже, словно ледяные пальцы. Она старалась не смотреть на свежее опустевшие койки. Старалась не прислушиваться к шёпоту по ночам. Но эти слухи, заполняли мысли, не давали дышать.

Кто-то говорил, что детей уводили городские стражники — якобы для работ на портовых складах, где нужны были маленькие ловкие руки. Другие шептали, что виноваты бродяги — те, что прятались в заброшенных домах и искали слабых, чтобы продать их в далёкие края.

Третьи — самые молчаливые, самые напуганные — намекали на нечто иное. На то, что исчезали не все дети, а только те, кто отличался. Кто слишком громко смеялся, кто смотрел на мир с любопытством, кто не научился быть тенью.

«Может, их забрали бледные господа?» — мелькнула однажды мысль, и Ария тут же отогнала её. Но образ не исчезал: тёмные дома на холме, кованые решётки, тяжёлые шторы, за которыми скрывалось нечто, ждущее своего часа.

Поэтому она сжимала кулаки до боли, закусывала губу так, что чувствовала железный вкус крови, и повторяла про себя, как заклинание:

«Это не моё дело. Это не моя жизнь. Я просто хочу выжить».

Но иногда, в самые тихие часы ночи, когда даже крысы замирали в своих норах, она всё же задавала себе вопрос — не вслух, а мысленно: «А если это случится со мной?»

И тогда она вжималась в матрас, натягивала одеяло до подбородка, закрывала глаза и представляла прекрасное и светящееся платье — то самое, которое видела однажды.

В один из дней Ария шла к аптекарю, чтобы продать коренья для изготовления лечебного настоя — сестра Марта обещала с этих денег купить хоть немного соли. Путь лежал через площадь, где торговали рыбой, и дальше — мимо высоких домов с резными ставнями.

Утро выдалось сырым и ветреным. Низкие тучи цеплялись за острые шпили городских башен, а порывы ветра поднимали с земли клочья соломы и сухие листья, гоняя их по булыжной мостовой. Воздух пропитался запахом тухлой рыбы — на площади всю кипела торговля. Рыбаки в грубых холщовых рубахах выкрикивали цены, размахивая серебристыми тушками, а покупательницы придирчиво шупали брюшки, принимались, спорили. Над всем этим гулом висел едкий дым от жаровен, где подрумянивались рыбные пироги.

Ария прижала к груди старую холщовую сумку и ускорила шаг. Она не любила эту площадь — слишком много людей, слишком много глаз. В приюте её учили: «Не привлекай внимания. Не задерживайся. Не смотри в лица». Поэтому она шла, опустив взгляд, следя лишь за трещинами в камнях под ногами.

За площадью начиналась узкая улица, застроенная высокими домами. Их фасады украшали резные ставни, кованые козырьки, лепные карнизы — всё то, что делало их непохожими на серые, обшарпанные стены приюта. Здесь жили не бедняки. Здесь жили те, кто мог позволить себе цветные стёкла в окнах, кованые решётки и слуг у дверей. Ария всегда чувствовала себя чужой в этих кварталах — маленькой, грязной, недостойной даже ступить по этой почти чистой мостовой.

Аптека располагалась на углу оживлённой улицы: витрину плотно заполняли склянки с разноцветными жидкостями, пучки сушёных трав свисали с потолка, а на полках аккуратными рядами выстроились баночки с мазями и порошками. Над дверью тихо позвякивал медный колокольчик, а из приоткрытого окна доносился терпкий запах камфары, ладана и настоя валерианы.

Ария подошла к прилавку — низкому, покрытому пятнами от разлитых снадобий. За ним возвышался сам Игнатий: сухощавый мужчина с острым носом и цепким взглядом. Его пальцы, перепачканные в травах и порошках, ловко перебирали товары, пока он обслуживал очередного покупателя — грузного торговца рыбой, от которого несло тиной и солью.

— Ну что, сиротка, опять с кореньями? — бросил он, едва удостоив её взглядом, когда торговец, кряхтя, покинул аптеку.

Ария молча разложила на прилавке пучки собранных растений: корень валерианы, листья подорожника, соцветия ромашки. Руки её слегка дрожали — не от страха, а от напряжения: каждое растение она выбирала тщательно, зная, что Игнатий не заплатит за порченные листья или гнилые корни.

— Опять эта дрянь? — фыркнул аптекарь, брезгливо перебирая её товар. — Валериана — перезревшая, ромашка — с пятнами. За такое я дам тебе вдвое меньше обычного.

— Но они хорошие! — вырвалось у Арии, прежде чем она успела сдержаться. — Я всё проверила, они свежие...

— Свежие? — Игнатий поднял бровь, и его губы скривились в усмешке. — Ты думаешь, я не вижу, что половина листьев поедена жуками? Или ты хочешь меня обмануть, как другие приютские?

Она прикусила язык. Спорить было бесполезно. В прошлом она пыталась возражать — в ответ получала лишь презрительные взгляды и ещё меньшее вознаграждение.

— Ладно, — наконец буркнул он, отсчитывая монеты. — Вот твои две медяшки. И не вздумай приходить завтра с тем же хламом.

Звон монет о деревянную поверхность прилавка прозвучал жалко — так мало за столько труда. Ария сжала их в ладони, кивнула аптекарю и поспешила к выходу, стараясь не обращать внимания на его пренебрежительный взгляд.

Уже сворачивая за угол, направляясь прочь от яркой витрины и запаха трав, она вдруг замерла. Из тёмного переулка, зажатого между складами с рыбой и заброшенной кузницей, донёсся глухой стон — слабый, но отчётливый, будто кто-то пытался позвать на помощь, но не мог кричать.

Сердце ёкнуло. Она колебалась всего миг, затем шагнула в тень переулка. Запах тухлой рыбы здесь был ещё сильнее, смешиваясь с сыростью и чем-то металлическим — кровью?

За мусорными баками лежал мужчина. На нём был дорогой камзол из тёмно-синего бархата, но ткань оказалась изодрана в нескольких местах, а на рукаве темнело влажное пятно, подозрительно похожее на кровь. Потрёпанный вид одежды резко контрастировал с её изначальной роскошью: по обрывкам вышивки и остаткам позолоты на пуговицах можно было догадаться, что некогда камзол стоил немалых денег.

Когда Ария приблизилась, мужчина приподнял голову — и она едва не вскрикнула.

Его лицо поражало неестественной бледностью: кожа была почти прозрачной, сквозь неё проступали тонкие синие прожилки вен. В этом не было ничего человеческого — скорее напоминало восковую фигуру. Но глаза ярко-голубые, ледяные, они словно горели странным огнём, в котором смешались боль, отчаяние и едва уловимая надежда.

Ария невольно отступила на шаг, но тут же замерла, прикована этим взглядом. Что-то в его выражении — не мольба даже, а тихое, беззвучное «помоги» — заставило её переступить через страх.

Она пригляделась и заметила ещё одну странность: несмотря на пасмурный день, когда солнце лишь изредка пробивалось сквозь тучи, на коже мужчины появлялись красные волдыри, будто от ожогов. Они медленно вздувались, затем лопались, оставляя после себя розовые рубцы. Он вздрогнул, когда очередной луч коснулся его щеки, и тихо зашипел, прикрывая лицо рукой.

— Что... что с вами? — прошептала Ария, сама не понимая, почему заговорила. В приюте её учили не вмешиваться, не задавать вопросов, не привлекать внимания. Но сегодня все эти правила казались далёкими и ненужными. Что сильно удивляло её саму.

Мужчина снова медленно повернул голову в её сторону. Его губы дрогнули, и на мгновение Ария заметила у него во рту нечто странное, блеснувшие в полумраке переулка.

— Помоги — прошептал он, и Ария заметила острые клыки, мелькнувшие между губ. — Мне нужно в тень...

Она замерла. Всё внутри кричало: «Беги! Это нечисть!» Но ноги не слушались. Разум разрывался между инстинктивным страхом и чем-то ещё — тем, что давно было погребено под слоями грязи, боли и молчания.

А потом она увидела его руку — тонкую, почти прозрачную, с синими венами, проступающими под кожей, как у умирающих в приюте. В этом жесте, в этой слабости было что-то до боли знакомое: так выглядели дети, которых забирала лихорадка, так выглядели те, кто терял надежду. Это было не величественное существо из легенд, не грозный «бледный господин» — а просто страдающий человек. Или почти человек.

— Сюда! — хрипло сказала она, срывая с головы платок. — В тень!

Не дожидаясь ответа, Ария огляделась. В нескольких шагах от переулочка, у стены старого склада, стояла покосившаяся телега с рваным брезентом. Не раздумывая, она бросилась к ней, сдёрнула грязную ткань и вернулась к раненому. Руки дрожали, но она действовала быстро, почти машинально: накинута брезент на мужчину, прикрыв его от солнца, затем осторожно подцепила край и потянула, пытаясь переместить его в более глубокое затенение — туда, где стена дома создавала плотную чёрную полосу прохлады.

Он застонал, когда она коснулась его плеча, но не сопротивлялся. Его тело было неестественно лёгким, будто кости и кожа — всё, что осталось от человека. Ария закусил губу, чувствуя, как пот стекает по виску.

Когда она наконец усадила его в тень, он приоткрыл глаза. На мгновение в них вспыхнул странный свет — то ли благодарность, то ли удивление.

— Ты не убежала, — прошептал он.

— Я... — Ария запнулась, не зная, что сказать. — Я не могла оставить вас умирать.

Он попытался улыбнуться, но вместо этого лишь скривился от боли.

Мужчина тяжело дышал, его грудь вздымалась неровно, с хрипом, будто каждый вдох давался ему с неимоверным усилием. Пальцы, бледные и тонкие, словно выточенные из мрамора, впивались в её запястье. Хватка была слабой — не от бессилия, а от отчаянного желания удержаться, не упасть в бездну, которая, казалось, уже тянула его за собой.

— Ты не боишься? — спросил он, глядя на неё с изумлением и тихим восторгом. Его глаза — ярко-голубые, почти ледяные — всматривались в её лицо, словно пытались отыскать там ответ на вопрос, который он не решался задать вслух.

Ария почувствовала, как по спине пробежал холодок. Страх пульсировал в висках, стучал в ушах, но она не отступила. Не отвела взгляд. Вместо этого она сглотнула и прошептала:

— Боюсь...

Слово вырвалось тихо, почти неслышно, но оно было честным. Она действительно боялась — боялась этого человека, боялась того, что он представлял, боялась того, что могло случиться, если она останется. Но ещё сильнее она боялась того, что будет, если уйдёт.

— Но вы же человек? — добавила она, сама не зная, зачем спрашивает. Может, чтобы услышать подтверждение, что перед ней — не чудовище из легенд, а живое существо. Или, наоборот, чтобы найти повод убежать.

Он усмехнулся. Это была не улыбка — скорее судорога мышц, горькая и жуткая. В ней не было ни насмешки, ни злобы, только глубокая, выжженная изнутри усталость.

— Как знать, — произнёс он тихо, и эти два слова повисли между ними, тяжёлые, как свинец. В них уместилась целая жизнь — потерянная, переломанная, переписанная заново чужой волей.

Ария замерла. Она хотела спросить ещё что-то — потребовать объяснений, закричать, убежать, — но не успела. Он заговорил снова, и голос его звучал как шелест сухих листьев по камням:

— Меня зовут Альрик.

Имя прозвучало странно — не угрожающе, но весомо, будто оно несло в себе историю, которую Ария не могла прочесть. Она никогда не слышала его раньше, но оно казалось правильным. Как будто принадлежало этому человеку — или тому, кто когда-то был им.

— Ты спасла меня, — сказал он, когда Ария своим платком пыталась вытереть гноящиеся раны.

Голос Альрика звучал глухо, с хрипотцой, будто каждое слово продиралось сквозь тернии боли. Его губы едва шевелились, но взгляд — ледяной, пронзительный — не отрывался от её лица. В этих ярко-голубых глазах, похожих на замёрзшие озёра, читалась не только благодарность, но и что-то ещё — тяжёлое, невысказанное.

Ария замерла. Платок в её руках уже пропитался сукровицей и грязью, но она не решалась остановиться. Пальцы дрожали, однако она продолжала осторожно промокать края ран, стараясь не причинить ему ещё большей боли. Её движения были неуверенными, но точными — так, как учила сестра Марта, когда в приют приводили избитых людей.

— Не доверяй незнакомцам. Не уходи с ними никуда. — глядя на её растерянность и молчание, сказал с ухмылкой Альрик.

Ария почувствовала, как по спине пробежал ледяной озноб. Слова Альрика врезались в сознание, будто острые осколки стекла. Она сглотнула, пытаясь унять дрожь в голосе:

— Я слабая...

Молчание затянулось. Где-то вдали крикнула чайка — резкий, пронзительный звук, такой обычный, такой земной, что он вдруг ударил по нервам, вырвав Арию из омута мрачных мыслей. Она вздрогнула, будто очнулась от кошмара.

Альрик задумался. Его бледные пальцы слегка сжались в кулак, словно он взвешивал в уме каждое возможное слово. В глазах, холодных и прозрачных, как замёрзший ручей, мелькнуло что-то похожее на сожаление.

— Мне нужно вернуться в приют, — сказала она резко, и голос её прозвучал твёрже, чем она сама ожидала. — Сестра Марта будет искать меня. Если я опоздаю, она снова накажет.

— Конечно, — кивнул Альрик, и в его ледяных глазах мелькнуло что-то неуловимое — то ли понимание, то ли тень воспоминаний о собственной утраченной свободе. — Но помни: если тебе понадобится помощь, найди меня на холме. Мой особняк — тот, что с чёрными ставнями и коваными решётками. Ты не ошибёшься.

Ария на мгновение замерла, пытаясь осмыслить его слова. Особняки на холме она видела его издали — мрачные, величественные здания окутанное легендами и слухами. Теперь оно обрело для неё новый смысл: не символ недоступной роскоши, а возможное убежище.

Она повернулась, чтобы уйти, но услышала шепот:

— Спасибо...

Его голос прозвучал тихо, почти шёпотом, но в нём было столько невысказанного, что у неё на миг перехватило дыхание.

Ария не ответила, только кивнула. Резко развернувшись, она быстрыми шагами покинула переулочек, оставив Альрика в тени. Солнечный свет, едва пробивавшийся сквозь тучи, ослепил её на мгновение, и она невольно прищурилась. Мир вокруг казался одновременно знакомым и чужим — будто она смотрела на него другими глазами.

Сердце колотилось как бешеное, отстукивая ритм, который эхом отзывался в ушах.

Вернувшись в приют, она проскользнула в спальню, будто тень. Никто не заметил её отсутствия. Скрип половиц под босыми ногами растворился в привычном шуме приюта — приглушённых разговорах, шарканье подошв, далёком звоне посуды. Ария замерла на мгновение, прислушиваясь, пытаясь уловить нить реальности, которая всё ещё связывала её с этим миром.

За окном шумел дождь. Тяжёлые капли барабанили по стеклу, словно пытались прорваться внутрь, донести до неё какой-то тайный смысл. Где-то в глубине приюта раздался крик — резкий, отчаянный. Видимо, очередная жертва старших воспитанниц. Ария вздрогнула и свернулась калачиком на своей койке, подтянув колени к груди. Холод от матраса пробирал до костей, но она не замечала этого. Мысли кружились в голове, как листья в осеннем вихре.

Почему он был так добр к ней? Этот вопрос не давал ей покоя. В его голосе звучала забота, в глазах — нечто похожее на сочувствие. Но почему? Только потому, что она помогла ему? Или в этом скрывался иной замысел? Может, он хотел заманить её в свою паутину, как те вампиры, что охотятся на детей, обещая тепло и защиту?

Она вспомнила его слова: «Если тебе понадобится помощь, найди меня на холме». Звучало как приглашение, но в то же время — как предупреждение. Что, если это ловушка? Что, если его доброта — лишь маска, за которой скрывается жажда крови, голод, неуголимая тьма?

И ещё один вопрос терзал её: почему он даже не спросил её имени? Она спасла его, а он ни разу не назвал её по имени. Было ли это равнодушием? Или, напротив, осознанной дистанцией — чтобы не привязываться, не давать ложных надежд?

Ария закрыла глаза, пытаясь упорядочить хаос в голове. Она вспомнила его лицо — бледное, измождённое, но в тот же момент странно притягательное. Его голос — тихий, но наполненный невысказанной болью. Но была ли она действительно сильной? Или просто наивной девочкой, которую легко обмануть?

Дождь за окном усилился. Капли стучали всё быстрее, будто отбивали ритм её мыслей. Она снова вспомнила крик в глубине приюта. Кто-то страдал, а она сидела здесь, размышляя о восковом господине.

«Я должна быть осторожнее», — мысленно повторила она. — «Не доверять никому».

Она прижала колени ещё ближе к груди, пытаясь унять дрожь. В комнате становилось всё темнее, тени удлинялись, словно пытаясь дотянуться до неё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.